



МАКСИМ
ГОРЬКИЙ

✧
Старуха Изергиль,
Макар Чудра
и другие...
✧



Издательство АСТ
Москва

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
Г71

Компьютерный дизайн обложки
А.В. Виноградов

Горький, Максим.
Г71 Старуха Изергиль, Макар Чудра и другие... / Максим Горький. — Москва : Издательство АСТ, 2018. — 412, [4] с. — (Русская классика).

ISBN 978-5-17-073332-3

Максим Горький — писатель, творчество которого казалось бы всем знакомо, хотя бы по школьной программе. Его провозгласили классиком литературы социалистического реализма и тем самым фактически избавили от всякой критики, навязав читателям определенное, восторженно-хвалебное отношение к его творчеству.

Но если отбросить все то, что так тщательно внушали нам, можно разглядеть ЛИЧНОСТЬ, фигуру прежде всего интересную гуманную и страдающую.

Понимание творчества Горького требует самостоятельности мышления и самых неординарных неожиданных подходов. Это поможет вам насладиться многогранностью его таланта...

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6-44



В ЛЮДЯХ

I

Я — в людях, служу «мальчиком» при магазине «модной обуви», на главной улице города.

Мой хозяин — маленький, круглый человечек; у него бурое, стёртое лицо, зелёные зубы, водянисто-грязные глаза. Он кажется мне слепым, и, желая убедиться в этом, я делаю гримасы.

— Не криви рожу, — тихонько, но строго говорит он.

Неприятно, что эти мутные глаза видят меня, и не верится, что они видят, — может быть, хозяин только догадывается, что я гримасничаю?

— Я сказал — не криви рожу, — ещё тише внушает он, почти не шевеля толстыми губами.

— Не чеши рук, — ползет ко мне его сухой шопот. — Ты служишь в первом классе магазине на главной улице города, это надо помнить! Мальчик должен стоять при двери, как статуя...

Я не знаю, что такое статуя, и не могу не чесать рук, — обе они до локтей покрыты красными пятнами и язвами, их нестерпимо разъедает чесоточный клещ.

— Ты чем занимался дома? — спрашивает хозяин, рассматривая руки.

Я рассказываю, он качает круглой головой, плотно оклеенной серыми волосами, и обидно говорит:

— Ветошничество — это хуже нищенства, хуже воровства.

Не без гордости я заявляю:

— Я ведь и воровал тоже.

Тогда, положив руки на конторку, точно кот лапы, он испуганно упирается пустыми глазами в лицо мне и шипит:

— Что-о? Как это воровал?

Я объясняю — как и что.

— Ну, это сочтём за пустяки. А если ты у меня украдёшь ботинки али деньги, я тебя устрою в тюрьму до твоих совершенных лет...

Он сказал это спокойно, я испугался и ещё больше невзлюбил его.

Кроме хозяина, в магазине торговал мой брат, Саша Яковлев, и старший приказчик — ловкий, липкий и румяный человек. Саша носил рыженький сюртучок, манишку, галстук, брюки навыпуск, был горд и не замечал меня.

Когда дед привёл меня к хозяину и просил Сашу помочь мне, поучить меня, — Саша важно нахмурился, предупреждая:

— Нужно, чтоб он меня слушался!

Положив руку на голову мою, дед согнул мне шею.

— Слушай его, он тебя старше и по годам и по должности...

А Саша, выкатив глаза, внушил мне:

— Помни, что дедушка сказал!

И с первого же дня начал усердно пользоваться своим старшинством.

— Каширин, не вытаращивай зенки, — советовал ему хозяин.

— Я — ничего-с, — отвечал Саша, наклоня голову, но хозяин не отставал:

— Не бычись, покупатели подумают, что ты козёл...

Приказчик почтительно смеялся, хозяин уродливо растягивал губы, Саша, багрово налившись кровью, скрывался за прилавком.

Мне не нравились эти речи, я не понимал множества слов, иногда казалось, что эти люди говорят на чужом языке.

Когда входила покупательница, хозяин вынимал из кармана руку, касался усов и приклеивал на лицо своё сладостную улыбку; она, покрывая щёки его морщинами, не изменяла слепых глаз. Приказчик вытягивался, плотно приложив локти к бокам, а кисти их почтительно развешивал в воздухе, Саша пугливо мигал, стараясь спрятать выпученные глаза, я стоял у двери, незаметно почесывая руки, и следил за церемонией продажи.

Стоя перед покупательницей на коленях, приказчик примеряет башмак, удивительно растопырив пальцы.

Руки у него трепещут, он дотрагивается до



ноги женщины так осторожно, точно он боится сломать ногу, а нога — толстая, похожа на бутылку с покатыми плечиками, горлышком вниз.



Однажды какая-то дама сказала, дрыгая ногой и поёживаясь:

— Ах, как вы щекочете...

— Это-с — из вежливости, — быстро и горячо объяснил приказчик.

Было смешно смотреть, как он липнет к покупательнице, и чтобы не смеяться, я отворачивался к стеклу двери. Но неодолимо тянуло наблюдать за продажей, — уж очень забавляли меня приемы приказчика, и в то же время я думал, что никогда не сумею так вежливо растопыривать пальцы, так ловко насаживать башмаки на чужие ноги.

Часто, бывало, хозяин уходил из магазина в маленькую комнатку за прилавком и звал туда Сашу; приказчик оставался глаз на глаз с покупательницей. Раз, коснувшись ноги рыжей женщины, он сложил пальцы шепотью и поцеловал их.

— Ах, — вздохнула женщина, — какой вы шалунишка! А он надул щеки и тяжело произнес:

— Мм-ух!

Тут я расхохотался до того, что, боясь свалиться с ног, повис на ручке двери, дверь открылась, я угодил головой в стекло и вышиб его. Приказчик топал на меня ногами, хозяин стучал по голове моей тяжёлым золотым перстнем, Саша пытался трепать мои уши, а вечером, когда мы шли домой, строго внушал мне:

— Прогонят тебя за эти штуки! Ну, что тут смешного?

И объяснил: если приказчик нравится дамам — торговля идёт лучше.

— Даме и не нужно башмаков, а она придёт да лишние купит, только бы поглядеть на приятного приказчика. А ты — не понимаешь! Возись с тобой...

Это меня обидело, — никто не возился со мной, а он тем более.

По утрам кухарка, женщина больная и сердитая, будила меня на час раньше, чем его; я чистил обувь и платье хозяев, приказчика, Саши, ставил самовар, приносил дров для всех печей, чистил судки для обеда. Придя в магазин, подметал пол, стирал пыль, готовил чай, разносил покупателям товар,

ходил домой за обедом; мою должность у двери в это время исполнял Саша и, находя, что это унижает его достоинство, ругал меня:

– Увалень! Работай вот за тебя...

Мне было тягостно и скучно, я привык жить самостоятельно, с утра до ночи на песчаных улицах Кунавина, на берегу мутной Оки, в поле, и в лесу. Не хватало бабушки, товарищей, не с кем было говорить, а жизнь раздражала, показывая мне свою неказистую, лживую изнанку.

Нередко случалось, что покупательница уходила, ничего не купив, – тогда они, трое, чувствовали себя обиженными. Хозяин прятал в карман свою сладкую улыбку, командовал:

– Каширин, приberi товар!

И ругался:

– Ишь нарыла, свинья! Скушно дома сидеть дуре, так она по магазинам шляется. Была бы ты моей женой – я б тебя...

Его жена, сухая, черноглазая, с большим носом, топала на него ногами и кричала, как на слугу.

Часто, проводив знакомую покупательницу вежливыми поклонами и любезными словами, они говорили о ней грязно и бесстыдно, вызывая у меня желание выбежать на улицу и, догнав женщину, рассказать, как говорят о ней.

Я, конечно, знал, что люди вообще плохо говорят друг о друге за глаза, но эти говорили обо всех особенно возмутительно, как будто они были кем-то признаны за самых лучших людей и назначены в судьи миру. Многим завидуя, они никогда никого не хвалили и о каждом человеке знали что-нибудь скверное.

Как-то раз в магазин пришла молодая женщина, с ярким румянцем на щеках и сверкающими глазами, она была одета в бархатную ротонду с воротником черного меха, – лицо её возвышалось над мехом, как удивительный цветок. Сбросив с плеч ротонду на руки Саши, она стала ещё красивее: стройная фигура была туго обтянута голубовато-серым шёлком, в ушах сверкали брильянты, – она напоминала мне Василису Прекрасную, и я был уверен, что это сама губернаторша. Её приняли особенно почтительно, изгибаясь перед нею, как перед огнём, заклёбываясь любезными словами. Все трое метались по магазину, точно бесы; на стёклах шкапов скользили их отражения, казалось, что всё кругом загорелось,



тает и вот сейчас примет иной вид, иные формы.

А когда она, быстро выбрав дорогие ботинки, ушла, хозяин, причмокнув, сказал со свистом:

– С-сука...

– Одно слово – актриса, – с презрением молвил приказчик.

И они стали рассказывать друг другу о любовниках дамы, о её кутежах.

После обеда хозяин лёг спать в комнате за магазином, а я, открыв золотые его часы, накапал в механизм уксуса. Мне было очень приятно видеть, как он, проснувшись, вышел в магазин с часами в руках и растерянно бормотал:

– Что за оказия? Вдруг часы вспотели! Никогда этого не бывало вспотели! Уж не к худу ли?

Несмотря на обилие суеты в магазине и работы дома, я словно засыпал в тяжёлой скуке, и всё чаще думалось мне: что бы такое сделать, чтоб меня прогнали из магазина?

Снежные люди молча мелькают мимо двери магазина, – кажется, что они кого-то хоронят, провожают на кладбище, но опоздали к выносу и торопятся догнать гроб. Трясутся лошади, с трудом одолевая сугробы. На колокольне церкви за магазином каждый день уныло звонят – великий пост; удары колокола бьют по голове, как подушкой: не больно, а глупеешь и глохнешь от этого.

Однажды, когда я разбирал на дворе, у двери в магазин, ящик только что полученного товара, ко мне подошел церковный сторож, кособокий старичок, мягкий, точно из тряпок сделан, и растрепанный, как будто его собаки рвали.

– Ты бы, человече божий, украл мне калошки, а? – предложил он.

Я промолчал. Присев на пустой ящик, он зевнул, перекрестил рот и снова:

– Украдь, а?

– Воровать нельзя! – сообщил я ему.

– А воруют, однако. Уважь старость!

Он был приятно не похож на людей, среди которых я жил; я почувствовал, что он вполне уверен в моей готовности украсть, и согласился подать ему калоши в форточку окна.

– Вот и ладно, – не радуясь, спокойно сказал он. – Не оманешь? Ну, ну, уж я вижу, что не оманешь...



Посидел с минуту молча, растирая грязный, мокрый снег подошвой сапога, потом закурил глиняную трубку и вдруг испугал меня:

– А ежели я тебя омману? Возьму эти самые калоши, да к хозяину отнесу, да и скажу, что продал ты мне их за полтину? А? Цена им свыше двух целковых, а ты – за полтину! На гостинцы, а?

Я немотно смотрел на него, как будто он уже сделал то, что обещал, а он всё говорил тихонько, гнусаво, глядя на свой сапог и попыхивая голубым дымом.

– Если окажется, напримерно, что это хозяин же и научил меня: иди испытай мне мальчика – насколько он вор? Как тогда будет?

– Не дам я тебе калоши, – сказал я сердито.

– Теперь уж нельзя не дать, коли обещал!

Он взял меня за руку, привлёк к себе и, стукая холодным пальцем по лбу моему, лениво продолжал:

– Как же это ты ни с того, ни с сего, – на, возьми?!

– Ты сам просил.

– Мало ли чего я могу попросить! Я тебя попрошу церкву ограбить, как же ты – ограбишь? Разве можно человеку верить? Ах ты, дурачок...

И, оттолкнув меня, он встал.

– Калошев мне не надо краденых, я не барин, калошей не ношу. Это я пошутил только... А за простоту твою, когда пасха придёт, я те на колокольню пушу, звонить будешь, город поглядишь...

– Я знаю город.

– С колокольни он краше...

Зарывая носки сапог в снег, он медленно ушёл за угол церкви, а я, глядя вслед ему, уныло, испуганно думал: действительно пошутил старичок или подослан был хозяином проверить меня? Идти в магазин было боязно.

На двор выскочил Саша и закричал:

– Какого чорта ты возишься!

Я замахнулся на него клещами, вдруг взбесившись.

Я знал, что он и приказчик обкрадывают хозяина: они прятали пару ботинок или туфель в трубу печи, потом, уходя из магазина, скрывали их в рукавах пальто. Это не нравилось мне и пугало меня, – я помнил угрозу хозяина.



– Ты воруеть? – спросил я Сашу.

– Не я, а старший приказчик, – объяснил он мне строго, – я только помогаю ему. Он говорит – послужи! Я должен слушаться, а то он мне пакость устроит. Хозяин! Он сам вчерашний приказчик, он всё понимает. А ты молчи!

Говоря, он смотрел в зеркало и поправлял галстук теми же движениями неестественно растопыренных пальцев, как это делал старший приказчик. Он неутомимо показывал мне своё старшинство и власть надо мною, кричал на меня басом, а приказывая мне, вытягивал руку вперёд отталкивающим жестом. Я был выше его и сильнее, но костляв и неуклюж, а он – плотненький, мягкий и масляный. В сюртуке и брюках навывпуск он казался мне важным, солидным, но было в нём что-то неприятное, смешное. Он ненавидел кухарку, бабу странную, – нельзя было понять, добрая она или злая.

– Лучше всего на свете люблю я бои, – говорила она, широко открыв чёрные, горячие глаза. – Мне всё едино, какой бой: петухи ли дерутся, собаки ли, мужики – мне это всё едино!

И если на дворе дрались петухи или голуби, она, бросив работу, наблюдала за дракою до конца её, глядя в окно, глухая, немая. По вечерам она говорила мне и Саше:

– Что вы, ребятишки, зря сидите, подрались бы лучше!

Саша сердится:

– Я тебе, дура, не ребятишка, а второй приказчик!

– Ну, этого я не вижу. Для меня, покуда не женат, ребёнок!

– Дура, дурья голова...

– Бес умён, да его бог не любит.

Её поговорки особенно раздражали Сашу, он дразнил её, а она, презрительно скосив на него глаза, говорила:

– Эх ты, таракан, богова ошибка!

Не однажды он уговаривал меня намазать ей, сонной, лицо ваксой или сажей, натывать в её подушку булавок или как-нибудь иначе «подшутить» над ней, но я боялся кухарки, да и спала она чутко, часто просыпаясь; проснётся, зажжёт лампу и сидит на кровати, глядя куда-то в угол. Иногда она приходила ко мне за печку и, разбудив меня, просила хрипло:

– Не спится мне, Лексейка, боязно чего-то, поговори-ка ты со мной.



Сквозь сон я что-то рассказывал ей, а она сидела молча и покачивалась. Мне казалось, что горячее тело её пахнет воском и ладаном и что она скоро умрёт. Может быть, даже сейчас вот ткнётся лицом в пол и умрёт. Со страха я начинал говорить громко, но она останавливала меня:

– Шш! А то сволочи проснутся, подумают про тебя, что ты любовник мой...

Сидела она около меня всегда в одной позе: согнувшись, сунув кисти рук между колен, сжимая их острыми костями ног. Грудей у неё не было, и даже сквозь толстую холстину рубахи проступали рёбра, точно обручи на разошедшей бочке. Сидит долго молча и вдруг прошепчет:

– Хоть умереть бы, что ли, такая всё тоска...

Или спросит кого-то:

– Вот и дожила – ну?

– Спи! – говорила она, прерывая меня на полуслове, разгибалась и, серая, таяла бесшумно в темноте кухни.

– Ведьма! – звал её Саша за глаза.

Я предложил ему:

– А ты в глаза скажи ей это!

– Думаешь, побоюсь?

Но тотчас же сморщился, говоря:

– Нет, в глаза не скажу! Может, она вправду ведьма...

Относясь ко всем пренебрежительно и сердито, она и мне ни в чём не мирволила, – дёрнет меня за ногу в шесть часов утра и кричит:

– Буде дрыхнуть-то! Тащи дров! Ставь самовар! Чисти картошку!..

Просыпался Саша и ныл:

– Что ты орёшь? Я хозяину скажу, спать нельзя...

Быстро передвигая по кухне свои сухие кости, она сверкала в его сторону воспалёнными бессонницей глазами:

– У, богова ошибка! Был бы ты мне пасынок, я бы тебя ощипала.

– Проклятая, – ругался Саша и по дороге в магазин внушал мне: – Надо сделать, чтоб её прогнали. Надо, незаметно, соли во всё подбавлять, – если у неё всё будет пересолено, прогонят её. А то керосину! Ты чего зеваешь?

– А ты?

Он сердито фыркнул:



– Трус!

Кухарка умерла на наших глазах: наклонилась, чтобы поднять самовар, и вдруг села на пол, точно кто-то толкнул её в грудь, потом молча свалилась на бок, вытягивая руки вперёд, а изо рта у нее потекла кровь.

Мы оба тотчас поняли, что она умерла, но, стиснутые испугом, долго смотрели на неё, не в силах слова сказать. Наконец Саша стремглав бросился вон из кухни, а я, не зная, что делать, прижался у окна, на свету. Пришёл хозяин, озабоченно присел на корточки, пощупал лицо кухарки пальцем, сказал:

– Действительно умерла... Что такое?

И стал креститься в угол, на маленький образок Николы Чудотворца, а помолвившись, скомандовал в сени:

– Каширин, беги, объяви полиции!

Пришёл полицейский, потоптался, получил на чай, ушёл; потом снова явился, а с ним – ломовой извозчик; они взяли кухарку за ноги, за голову и унесли её на улицу. Заглянула из сеней хозяйка, приказала мне:

– Вымой пол!

А хозяин сказал:

– Хорошо, что она вечером померла...

Я не понял, почему это хорошо. Когда ложились спать, Саша сказал мне необычно кротко:

– Не гаси лампу!

– Боишься?

Он закутал голову одеялом и долго лежал молча. Ночь была тихая, словно прислушивалась к чему-то, чего-то ждала, а мне казалось, что вот в следующую секунду ударят в колокол и вдруг все в городе забегают, закричат в великом смятении страха.

Саша высунул нос из-под одеяла и предложил тихонько:

– Давай ляжем на печи, рядом?

– Жарко на печи.

Помолчав, он сказал:

– Как она – сразу, а? Вот тебе и ведьма... Не могу уснуть...

– И я не могу.

Он стал рассказывать о покойниках, как они, выходя из могил, бродят до полуночи по городу, ищут, где жили, где у них остались родные.



– Покойники помнят только город, – тихонько говорил он, – а улицы и дома не помнят уж...

Становилось всё тише, как будто темнее. Саша приподнял голову и спросил:

– Хочешь, посмотрим мой сундук?

Мне давно хотелось узнать, что он прячет в сундуке. Он запирает его всяким замком, а открывал всегда с какими-то особенными предосторожностями и, если я пытался заглянуть в сундук, грубо спрашивал:

– Чего тебе надо? Ну?

Когда я согласился, он сел на постели, не спуская ноги на пол, и уже тоном приказания велел мне поставить сундук на постель, к его ногам. Ключ висел у него на гайтане, вместе с нательным крестом. Оглянув тёмные углы кухни, он важно нахмурился, отпер замок, подул на крышку сундука, точно она была горячая, и, наконец приподняв её, вынул несколько пар белья.

Сундук был до половины наполнен аптечными коробками, свёртками разноцветной чайной бумаги, жестянками из-под ваксы и сардин.

– Это что?

– А вот увидишь...

Он обнял сундук ногами и склонился над ним, напевая тихонько:

– Царю небесный...

Я ожидал увидеть игрушки: я никогда не имел игрушек и относился к ним с наружным презрением, но не без зависти к тому, у кого они были. Мне очень понравилось, что у Саши, такого солидного, есть игрушки; хотя он и скрывает их стыдливо, но мне понятен был этот стыд.

Открыв первую коробку, он вынул из неё оправу от очков, надел её на нос и, строго глядя на меня, сказал:

– Это ничего не значит, что стёкол нет, это уж такие очки!

– Дай мне посмотреть!

– Тебе они не по глазам. Это для тёмных глаз, а у тебя какие-то светлые, – объяснил он и по-хозяйски крикнул, но тотчас же испуганно осмотрел всю кухню.

В коробке из-под ваксы лежало много разнообразных пуговиц, – он объяснил мне с гордостью:

– Это я всё на улице собрал! Сам. Тридцать семь уж...



В третьей коробке оказались большие медные булавки, тоже собранные на улице, потом — сапожные подковки, стёртые, сломанные и цельные, пряжки от башмаков и туфель, медная дверная ручка, сломанный костяной набалдашник трости, девичья головная гребёнка, «Сонник и оракул» и ещё множество вещей такой же ценности.



В моих поисках тряпок и костей я легко мог бы собрать таких пустяковых штучек за один месяц в десять раз больше. Сашины вещи вызвали у меня чувство разочарования, смущения и томительной жалости к нему. А он разглядывал каждую штучку внимательно, любовно гладил её пальцами, его толстые губы важно оттопырились, выпуклые глаза смотрели умилённо и озабоченно, но очки делали его детское лицо смешным.

— Зачем это тебе?

Он мельком взглянул на меня сквозь оправу очков и спросил ломким дискантом:

— Хочешь, подарю что-нибудь?

— Нет, не надо...

Видимо, обиженный отказом и недостатком внимания к богатству его, он помолчал минуту, потом тихонько предложил:

— Возьми полотенце, перетрём всё, а то запылилось...

Когда вещи были перетёрты и уложены, он кувырнулся в постель, лицом к стене. Дождь пошёл, капало с крыши, в окна торкался ветер.

Не оборачиваясь ко мне, Саша сказал:

— погоди, когда в саду станет суше, я тебе покажу такую штуку ахнешь!

Я промолчал, укладываясь спать.

Прошло ещё несколько секунд, он вдруг вскочил и, царапая руками стену, с потрясающей убедительностью заговорил:

— Я боюсь... Господи, я боюсь! Господи помилуй! Что же это?

Тут и я испугался до онемения: мне показалось, что у окна во двор, спиной ко мне, стоит кухарка, наклонив голову, упираясь лбом в стекло, как стояла она живая, глядя на петушиный бой.

Саша рыдал, царапая стену, дрыгая ногами. Я с трудом, точно по горячим углям, не оглядываясь, перешёл кухню и лёг рядом с ним.

Наревевшись до утомления, мы заснули.

Через несколько дней после этого был какой-то праздник, торговали до полудня, обедали дома, и, когда хозяйева после обеда легли спать, Саша таинственно сказал мне:

– Идём!

Я догадался, что сейчас увижу штуку, которая заставит меня ахнуть.

Вышли в сад. На узкой полосе земли, между двух домов, стояло десятка полтора старых лип, могучие стволы были покрыты зелёной ватой лишая, чёрные голые сучья торчали мёртво. И ни одного вороньего гнезда среди них. Деревья – точно памятники на кладбище, кроме этих лип, в саду ничего не было, ни куста, ни травы; земля на дорожках плотно утоптана и черна, точно чугунная; там, где из-под жухлой прошлогодней листвы видны её лысины, она тоже подёрнута плесенью, как стоячая вода ряской.

Саша прошёл за угол, к забору с улицы, остановился под липой и, выкатив глаза, поглядел в мутные окна соседнего дома. Присел на корточки, разрёб руками кучу листьев, – обнаружился толстый корень и около него два кирпича, глубоко вдавленные в землю. Он приподнял их – под ними оказался кусок кровельного железа, под железом – квадратная дощечка, наконец предо мною открылась большая дыра, уходя под корень.

Саша зажёт спичку, потом огарок восковой свечи, сунул его в эту дырку и сказал мне:

– Гляди! Не бойся только...

Сам он, видимо, боялся: огарок в руке его дрожал, он побледнел, неприятно распустил губы, глаза его стали влажны, он тихонько отводил свободную руку за спину. Страх его передался мне, я очень осторожно заглянул в углубление под корнем, – корень служил пещере сводом, – в глубине её Саша зажёт три огонька, они наполнили пещеру синим светом. Она была довольно обширна, глубиной как внутренность ведра, но шире, бока её были сплошь выложены кусками разноцветных стёкол и черепков чайной посуды. Посредине, на возвышении, покрытом куском кумача, стоял маленький гроб, ок-



леенный свинцовой бумагой, до половины прикрытый лоскутом чего-то похожего на парчовый покров, из-под покрова высовывались серенькие птичьи лапки и остроносая головка воробья. За гробом возвышался аналой, на нём лежал медный нательный крест, а вокруг аналая горели три восковые огарка, укрепленные в подсвечниках, обвитых серебряной и золотой бумагой от конфет.



Острия огней наклонялись к отверстию пещеры; внутри её тускло блестели разноцветные искры, пятна. Запах воска, тёплой гнили и земли бил мне в лицо, в глазах переливалась, прыгала раздробленная радуга. Всё это вызвало у меня тягостное удивление и подавило мой страх.

– Хорошо? – спросил Саша.

– Это зачем?

– Часовня, – объяснил он. – Похоже?

– Не знаю.

– А воробей – покойник! Может, мощи будут из него, потому что он невинно пострадавший мученик...

– Ты его мёртвым нашёл?

– Нет, он залетел в сарай, а я накрыл его шапкой и задушил.

– Зачем?

– Так...

Он заглянул мне в глаза и снова спросил:

– Хорошо?

– Нет!

Тогда он наклонился к пещере, быстро прикрыл её доской, железом, втиснул в землю кирпичи, встал на ноги и, очищая с колен грязь, строго спросил:

– Почему не нравится?

– Воробья жалко.

Он посмотрел на меня неподвижными глазами, точно слепой, и толкнул в грудь, крикнув:

– Дурак! Это ты от зависти говоришь, что не нравится! Думаешь, у тебя в саду, на Канатной улице, лучше было сделано?

Я вспомнил свою беседку и уверенно ответил:

– Конечно, лучше!

Саша сбросил с плеч на землю свой сюртучок и, засучивая рукава, поплевав на ладони, предложил: